

Алексей Вишняков

12+

Таблички принца

Сочинение

Алексей Вишняков
Таблички принца

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Вишняков А. Г.

Таблички принца / А. Г. Вишняков — «ЛитРес: Самиздат», 2015

Это сочинение, состоящее из 63 фрагментов ритмической прозы разной длины, можно рассматривать как приквел к шекспировскому «Гамлету», персонажи которого, хотя и не названные ни разу по имени, стоят в его центре. При помощи подаренных дядей грифельных табличек скандинавский принц, студент германского университета, ведёт дневник, куда вносит разнообразные наблюдения и воспоминания.

Таблички принца.
Нет брата острию копья.
Но посвящаю эти зѣгмы
Тому, кого любил бы я,
Коль были б двое мы,
Чуть больше жизни.
Чуть меньше смерти.
Dedicatio fratri.

*

На всех рубцы, царапины и язвы.
Кормилицы утопли оба сына:
Тот, что меня ссужал, спасал того,
Что братом был молочным моего дружка,
И младший старшего в свинце солёном упокоил.
У конюха жена сошлась с псарём отцовым,
А он обоих закопал живьём под дубом,
И до сих пор сидит под ним и корни присыпает.
Сестра дружка молебен служит каждую субботу
За память матери, которую убила при рождении.
Ну а у нас отец здоров, как вепрь,
Цветёт, как роза, матушка,
А я по осени в Саксонию поеду.
Конечно, дядя не пристроен,
Отвергший конунга латгальского
Горбатую рыжересничную сестру.
Но любит он шутить,
Что родичей, помимо нас,
Ему не надо было раньше
И не понадобится никогда.
Поскольку в пьесах про аттических царей
Помимо их самих, детей,
Врагов и верных слуг –
Лишь боги и багровая судьба.

*

– Зачем ты мясо разлюбил и полюбил вдруг рыбу?
Когда я это у отца спросил, он мне ответил:
Когда я это у отца спросил, ответил тот,
что дед, услышав это от него, вздохнул и лишь одно сказал.
– И что ж?
– Пора подумать о начале воспитания наследника.
– Когда начнёшь? – спросил я у отца,
встающего, роняя кубки и объедки.
– На это дед и батюшка велели дать ответ замысловатый,
который я забыл по простоте, сказал отец,
пытаясь выйти в стену.

Потом, сквозняк почуя коридорный,
нащупав выход из каминной залы,
ко мне вдруг обернулся и сказал, икнув:
Вот с этого вопроса
оно и началось.

*

Мне колченогий Кáшпар, будто чуя матушкин кошель, недавно заливал про двойника видёнье. Мол тот, кто видел точное свое подобье, обречен. Навроде ихнего шуряги, упавшего под лёд с моста, и видевшего за́ день до того ландскнехта в кабаке, что пил, как он, шутил, как он, девах всё норовил пощупать, но не за грудинку, а за тот филей, что плющат лавкой – всё, как он. И как прощались и пихали все друг друга в брюхо, тот на «пока» всем отвечал – «пока ноша легка!» – А эту приговорку варварскую шурин притащил из Риги, где полк их частью вымерз, частью был закуплен русами (по весу лат пообещавшими сребра им) для науки воинского строя. Как бывшие «простые люди» все – наш Кашпар не мирволит родичам жены, а я как полукровка не люблю пинков полуродне, и потому побрёл я восвосяси, тяжесть ощущая не пузыря с мочой, а кошеля с деньгами. На следующий день, зайдя по просьбе Пабло на разбор магистром перевода из Овидия его про месть иссохшей Эхо, я вдруг увидел на скамье напротив самого себя. Я (он) сидел весь в чёрном и скучал, скрестивши долгие худые руки на груди, глазами томными скользя по сыновьям Адама на витражах линиялых меж свинцовых струек. Меня узрев, он побледнел (я никогда не чуял мочек, ну а здесь почувствовал – они замёрзли). Всё Италиянец разузнал: не фигурирующий, по словам провизора, в матрикулах, он в трёх харчевнях свой открыл кредит как скандинавский крónпринц (что я, как и всё прочее, взял на свой счёт *post factum*). Слуга мой, посланный для уговора о конфабуляции на утро, общался, не застав его, с его дружкой – взъерошенным и нестепенным. А в ночь псевдолус удавился, раздешись догола и закусив свинцовый кончик языка. Глядел я, стоя в выломанной двери, на него, но тусклой амальгамы взгляд его был обращён к окну, (к ползущему в зенит убийце безрассудных храбрецов), его в себе не отражая. А тот дружок, похожий по словам слуги на брата меньшего его, исчез бесследно.

*

С эдемского грехопаденья
В любви осадок сожаленья.
Блаженства миг испит и прожит –
И пучат брюхо жизни дрожжи.
Мы счастье жерновом привычки мелем
И всякий хмель чреват похмельем.
Изжога скуки искусов
Рождает желчи смерч.
Воды без примесей и привкусов
Подаст лишь смерть.

*

– Прочла сестра в какой-то вроде как испанской книжке, что смертный, что родился у воды, не сможет никогда укорениться там, где из окна её не будет видно. – Южане эти наглы в посылках, но трусливы в заключеньях. От силлогизмов их, как и от кухни мутноводной,

пованивает непромытыми бараными кишками. – Твоё высочество не замечало никогда, что здесь садимся мы всегда к окну на Эльбу? – Вздор, ведь это ты всегда заходишь первым и ведёшь сюда, поёлику отсюда перси внучки Кашпара видны до самого пупка, когда из погребца она с грудинкою иль с кабачком фаллоидным в обнимку поднимается. – Нет вздора там, где есть искусство этикета. Я не веду тебя, когда вхожу, а лишь сопровождаю. Угадывать капризы da p̄ncip̄e затылком, чтоб избежать пинка под зад ногою августейшей – p̄ncip̄io (прости за каламбур кривой) любого царедворца.

*

Я часто, сам не знаю почему, иду к Скале колдуньи, но сегодня вспомнил первый раз, как я сюда пришёл. С отцом в день всех святых, канун любимой мной Помоны, с кладбища мы сюда свернули. И тут он рассказал о том, что в память мне так врезалось, что воспроизвожу его повествованье буква в букву.

«Был дед после обеда в мирном настроеньи, послав склавонскую ведунью, что напрооричила ему сегодня смерть, спустить с обрыва в море, в козлиную зашивши шкуру (но упростила ведьма обождать до вечера, «до приливной волны»), сходил попарился, полюбовался петушиным боем и после ужина меня позвал учиться (но зная ненависть мою к наукам, позвал меня он не учиться и даже не играть учиться, а – играть) игре в тавлеи. Рассказывал про то, чего мне ждать и требовать чего от всех фигур. Про королеву вездесущую и похотливого (тогда слышалось мне – прихотливого) коня. Про пешек воинство покорно гибнущих и в панике бегущих непокорно на врага, неудержимых в ярости слонов. И постепенно расставлял он все фигуры чёрные, а я зеркально – белые. Поставил первой я единственную мне известную фигуру – короля, на что сказал мне дед, что прадед мой, отец его жены, норвежский конунг, был заговорщиками в тронной зале, куда всегда он важно первым заходил: «Нет, внуча, наше место в свите, к братанам поближе, не должно главарю попасть под первые удары и погубить с собою вместе всех товарищей, тебе поверивших и вверивших свою удачу». И короля он ставить стал последним, но вместо точного кошачьего (твой дядя, кстати, от него ту точность мягкую в наследство получил) движенья лапы с перстнями (вот этими, что рано или поздно ты примеришь), вдруг слепо тыкать по доске им начал. Посыпались фигуры, следом он упал уж мёртвый, по-рыбий обесмыслив взгляд и в скрюченной руке зажав фигурку в мантии так, что пришлось кинжалом (да, вот этим, что тебя отныне опоясывает) пальцы разжимать, чтобы сложив на животе в них сунуть кипарисовые чётки, с которых я во время sepultura глаз отвести не мог. – А ведунья? – Какая? А, было всем не до неё, и в погребце она задохлась и потом иссохла, словно крыса в западне застрявшая, но в море с этой вот скалы её однако ж сбросили из уважения к прадедушке и к прозорливости его».

*

За что не любишь, дядя, ты дружка? Он первым несёт куропатку тобою подстреленную. Смеётся над шутками твоими самыми несмешными. Коль паузу ты сделаешь за трапезой после ухода батюшки, которую никто прервать не смеет – он первый слово молвит и к тебе с вопросом учтивым обратится. – Он так угодлив, как у римлян те, что яд с улыбкой подавали императору. – Но ведь ты не император? – Нерпа и белёк! Стреляй! – В белька? – Дубина, в нерпу. Белёк без нерпы будет ждать своей стрелы, как маткиного млека!

*

Родила матушка меня в семнадцать лет неполных,

и доселе послы заезжие присоски глаз
исподтишка в её бросают сторону.
И батюшка всегда её приберегает
на миг критический своих переговоров.
Вплывёт белугою, росую взгляда утренней всех оросит
и пригласит почтенное собрание на трапезу
вином Шампани запивать
свиной остзейских почерёвок склизкий.
Ужель когда-нибудь (и дядя прав?) настанет время,
и матроны благородные за тридцать и – (о ужас) сорок даже –
всё будут выменем отвислым Ио поводить,
опарой скишей рук призывно помавать,
очами потускневшими бесстыдно и застенчиво блистать,
и, прободаны сыновьями и мужами,
устне свои отверзсты,
не в холст суровый,
а в шелка лилейные всё облекать,
морщинами умашенными старцев оплешивевших
навроде дяди моего любимого завлечь пытаюсь?

*

Плыву домой. На похороны. Те двадцать лет, что помню я себя, никто не умирал из самых ближних, и это первые мои поминки. Слыхал, что в жизнь рождённых вовремя покойник первый входит лишь тогда, когда они научатся не думать про Харона и ладью его, что плавает в один конец. И вспомнился отцов рассказ, как дед его с собою в Швецию возил на стрелки и на тёрки. Не столько для науки царской брал, а как заложника – по требованью шведов. Тогда же я узнал, откуда у него страх одиночества и тишины – всё от того же деда, который скальдами и проповедниками нищими забил весь замок, словно крысами подвал. В набеге, на охоте, под альковом на оленьих шкурах – отец и дед всё требовали сказок, песен, анекдотов иль просто разговоров ни о чём. Отец – такой же бука и молчун – в поездках деда был ещё угрюмей. И как последний не дотягивал до роли Авраама-боголюбца, так батя не в восторге был от роли Исаака. Своё предназначение он понял в первой же поездке, когда его от деда отделили и отвели в покои, где запор для вящей безопасности его был лишь с наружной стороны дубовой двери. А свиту дед не брал с собой по договору с шведами. Но в первой же поездке дед в их закуток под вечер с палубы припёр двух шведских мариманов-рыбаков, налил им шнапса и сказал: nordost vind?, dimma?, sandbank?, havsströmmar, ja? Те сразу (или после шнапса?) оживились и заговорили, пиная кулаками волглый воздух трюма. И под такие разговоры дед и отец в объятия Морфея отправлялись каждый шведский свой вояж. Так я узнал, откуда у отца та колыбельная, которой он меня баюкал долго-долго, лет до семи: нордóбстинд, диммасáндбанк, хавстрёммарья. А что за звуками гортанными таятся лишь в Германии, у однокашника из Швеции узнал недавно: ветрило с севера и запада, туман и отмель да течение.

*

Дружок меня учил, что тот, кто при ремизе выпад делает ногою левою, удар же – левою рукой – непобедим, поскольку (как ему открыл бретёр вместо проигрыша в кости) всегда фехтующий следит за правою – за правильной – рукой. Ты приучись, ещё ему сказал он, делать всё не правою, а левой дланью. Лишь подпись правой ставь да знамение крестное клади, как

простофили-папафилы. Обретший веру «в Бога, в мир, в себя», мой друг похвастался, что он и подпись научился ставить шуйцей. А к мессе он не ходит больше, как послушал тутошних вероучителей. И гвозди позлащённые их тезисов забил в свой череп.

*

Часы с кукушкой на шестнадцать лет мне дядя подарил, что щёлкают, шипят, свистят, натужно лают, сотрясаясь. Тогда же змий премудрый, как мой дружок его прозвал, с улыбкой объяснил, что без часов, буссоли, кладбища в болотной жиже, амальгамы, виселицы на холме или распятия, что на росстанях нас караулит, мы не способны ощутить, что жизни ток – он не идёт: проходит. И часто в час ночной я вздрагивал конвульсиям их в резонанс и думал: утром выброшу их вон в окно вдогонку содержимому горшка ночного. Иль в дар снесу беспечной братии Франциска – их ничем не испугаешь в этой жизни. Но под окном весной мяучат бюргерские кошки, приор Ассизи же часам любым по слухам предпочтёт дублоны Порты, что её владычество над всеми нами мидасовой печатью навсегда скрепили.

*

Мне из паломничества в Кентербери
Привёз в подарок дядя дивного прецептора:
«Чтоб обучать манерам, языкам»
«И мирочувствованью», по добавке матушки.
Мы диалоги сочиняли с ним на пару на латыни
Из жизни древних, нами воскрешаемых, мужей.
Всегда вопросы задавал Харон, Хирон,
Юпитер, на худой конец отец Улисса,
Узнав историю которого,
Я долго потешался над дружком моим:
«Царёк без царства!».
Ну а ответить по правилам риторики
И логики соперника Платона
(Соперника в садке скорей, а не саду,
Как позже я узнал, там побывав)
Был должен я.
Увидев раз, как плоть смирял лозою он,
Я рек ему, что если батюшка
С натурой приапической его
Сие узнает, нам несдобровать.
Ответил мне прецептор-флагеллант,
Что он не плоть бичует –
Плотью той рожденну, сотворенну –
Створоженную – мысль.
– «Отец мой не силён ни в топике,
Ни в диалектике, ни в экзегетике.
И лучше будет, если
На засов вы дверь начнёте закрывать
Во время ваших экзерциций».
Жена садовника, что розы без шипов
Для маминых венков растит и угреватого хориста,

Мне вторившего на амвоне в терцию, мамаша,
Чьи чары дыроватые
Отверг мой Теофраст,
Через тайну исповеди бате донесла.
Отец нежадный мой не пожалел затрат
И раздобыв вельблюда ко гузну лицом
Философа на горб он приторочил,
А сверху кипу прутьев.
И меня послал его так провезти
До пристани к ладье, плывущей в Альбион.
Я побледнел
И оттолкнул подругу,
Хотевшую взять дромадера за уздцы.
А мой эпикуреец просветлённый
Меня всё утешал и говорил,
Что милосердный батюшка,
Как требовал священник наш,
Гроза и бич чумазных пастушат,
Вполне бы мог послать его
На аутодафе в Мадрит иль в Лиссабон.
Но поступил он мудро.
Как всегда.

*

Гонец привёз известие о смерти батюшки.
Слуга: приветствую величество, всходящее, как солнце.
Друзья похмельные: Эй, принц, когда нас поведёшь
К Хромому Касперу гудеть
За царствие земное и небесное?
Служанка, что горшок ночной выносит,
Стирая с подоконника блевотину
(хромая и горбатая,
Слюны снимающая катышки со рта рукою левой
Кладущая на лоб, на плечи, на сухое лоно
Знамение правою дрожащею рукой):
Как, верно, матушка твоя кричит и убивается,
Сударик мой.

*

Как поучал прæceptor-флагеллант:
Не дёргай гарду, не взглянув в глаза обидчику,
Не подпевай куплету до рефрена,
Не смейся в хоре шутке непонятной.
Винимому дай хоть минуту
Для оправдания.
И сыпать милости в мошну героя,
Не торопись, не выслушав и не додумав.

Не доразобравшись.
Отец отечества – инертен,
Как волосы, созвездья, волны:
Укусы и засосы принимает вяло:
Как то, что люди розовых земли
И неба кармою зовут.
Он – руку властно поднимает вверх,
Но не спешит ей дать упасть.
Трагедия царя – в извечном недо.
Он понял всё не до конца.
Он сделал – тако же.
Почувствовав, что что-то (всё?) не то,
Помиловал смертельного врага,
Но по пути к судье (к судьбе?)
Ярыжка забежал к податливой куме,
А палача спешащего желудок мучил,
Счастливого, что он заранее наточил
Секиру.
Всё свершилось так,
Как и должно, наверно, было:
С утречка.
И харкнувшая из аорты кровь
Была не чёрной на опилках,
А нежно-нежно-нежною:
Сиренево-лиловой,
Перламутровую –
Авелевой.

*

Давно заметил я, что батя с меньшей неохотой говорит о всяческом зверье и птицах, нежели о людях, и сам я стал приглядываться к ним как к оселку для точки красноречья. Вот и сегодня за обедом: – Два мопса маминых ведут себя по-разному: один, тебя завидев, лает до судорог в корявых лапах; а второй – тот брешет ритуально и едва услышит шелест матушкиных губ, как сразу умолкает. – Тот первый, с браком по окрасу, почти с рожденья в юбках королевы, и потому лакейство простодушное всосал копь не из матерных сосков, так от сосцов лилейных камеристок. Ну а второго (что родился самым первым, самым крупным и любимым самым, как бывает, мамкой оказался) предназначали мы правительнице Чуди белоглазой, но та неожиданно в царство предков подалась (по братовым словам, они своих покойников в болоте топят в воспоминанье о прамати Трясине), запутавшись и задохнувшись на одре медвежьих шкур, ну а наследница, дитя коварных заговорщиков и потому с рожденья сирота – предпочитает кошек. Вот так второй, заместо кожаных шатров на шёлковых коленях матушки твоей в полгода оказался. Воспитанный как царь влачит он жизнь холопа, и приживала хлеб ему и горек, и противен, и стократ ему он горше от ужаса при мысли, что и его лишиться может он. – Собаки мыслят? – Почему бы нет? И слуги мыслят, и рабы, да даже и дружки твои вот эти двое. – Всегда я рад мишенью ваших шуток быть, всё лучше, чем на четвереньках спину горбить, когда, кряхтя, вы на коня садитесь! – А мне не только конюхом, но и конём у вас служить – высокая и незаслуженная честь. – Отец, дались тебе мои друзья!

*

Ты почему смеёшься на механике? – Я кривошип. Я по кривой хожу, чего ж ты хочешь от меня? – Я?! Ничего. Я лишь хочу, чтоб ты своим движением меня не трогал. – Так отойди подальше. Я эксцентрик. Мой центр смещён (и лишь затем – смешон). Я в щепки разнесу всё то, что будет слишком близко. Слишком плоско. Слишком узко. Слишком неподвижно.

*

Горбоносы, пучеглазы, пришли к нам люди раз, цыганами назвавшись, но холостить коней не могут и из монет монисто их женщины не носят. Их дети не чумазы и не веселы. А сами табориты носят рубище, но в нём карманов и кармашков на застёжках тьмы и тьмы. Отца они к игре вульгарной прирастили в три колпачка и шарик. – Батя, как же шахматы? Ну карты на худой конец? – Сынок, старенье – время упрощенья, всё сводит к чёту. Или нечету. – Так тут же три засаленных шапчонки! – Они, как августейшей особе, мне позволяют ошибиться дважды. Покуда дядя, тростью их лупя по кучерявым бошкам, не прогнал, они у бати чечевицы стратегической, покойным дедом для осады заготовленной, почти что полдонжона выцыганили. Но это были не цыгане. Цыгане настоящие в Иванов день за курицу и мерина нам славу нагадали во языцех и в веках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.